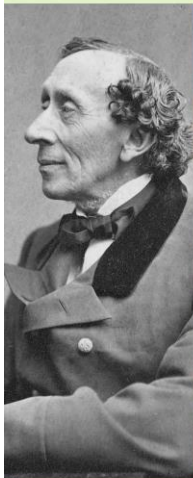


Андерсен Ганс Христиан



Теневые картины



Аннотация

В 1831 автор отправился в первое путешествие по Германии, итог которого — эссе-размышление «Теневые картины». В предисловии Андерсен замечает: «Кто путешествовал, тот может кое-что порассказать». В самом деле, он много путешествовал, вышло также несколько книг о его путешествиях по Швеции и Италии. Впечатлениями писателя впечатлениями от странствий по белому свету зачитывалось не одно поколение европейцев.

Перу Андерсена принадлежат и такие произведения: «Импровизатор», «Петька-Счастливец», «Картинки-невидимки».

Ганс Христиан Андерсен

Теневые картины

Вместо предисловия

*«Wenn jemand eine Reise thut,
kann er was erzählen!»¹*

говорит Клаудиус; так-то так, да найдутся ли слушатели, вот вопрос!

Живем мы в такое время, когда мировые события следуют одно за другим, когда в один год совершается больше, нежели прежде в целое десятилетие. На политическом горизонте вспыхивает метеор за метеором, так где уж тут обращать внимание на поэтические вспышки какой-нибудь единичной души! Нынешний век трудится в пользу поэтов грядущих поколений, от них будет зависеть обессмертить наше время!.. Но стоит птице опериться, ей уж хочется испробовать свои крылья, полетать, что бы там ни происходило вокруг — война или мир, свадьба или похороны. И вот она порхает и поет, пока не умрет. Всегда ведь

¹ «Кто путешествовал, тот может кое-что порассказать». — Примеч. перев.

найдется хоть одна родственная душа, которой вздумается отдохнуть от мирской суеты, прислушиваясь к трелям пернатого певца; большего же этот маленький гражданин неба и не требует! Если же он тщеславен — а таково большинство молодых поэтов, — он желает увеличить число своих слушателей и ради этого начинает оригинальничать, поет не своим голосом. Иногда это и помогает! Чем диковиннее звучат его поэтические вопли, тем больше обращают на него внимания. Таким образом, он собирает вокруг себя публику; а кому из вновь выступающих певцов это не желательно? Вот все они и стараются превзойти друг друга в оригинальничанье.

Нечего греха таить. Хотелось привлечь на себя внимание и мне, когда я подумывал описать мое путешествие. Я желал быть оригинальным и уже составил целый план — кстати сказать, еще до самой поездки. Я решил усадить читательниц и читателей и представить им мое путешествие в драматической форме — идея абсолютно новая! Да, я задумал написать целую драму с прологом и антрактами, а также увертюру к ней. В антрактах иронизировать предоставлялось самой публике, в прологе же это брал на себя я. Увертюра должна была исполняться полным оркестром; глухой гул толпы будет изображать турецкую музыку, все усиливающийся рокот волн — *crescendo*, а

щепетанье птиц и молоденьких дамочек на Лангелиние² — *adagio*. На самом пароходе я тоже нашел бы, конечно, спутников, которыегодились бы для увертюры, а мое собственное сердце могло бы сыграть небольшое соло на арфе. Словом, я полагал, что переезд от Копенгагена до Любека мог бы доставить довольно-таки разнообразный материал для увертюры. С прибытием в Травемюнде начался бы пролог, а с прибытием в Любек и самая драма. Да, никто еще не описывал своего путешествия таким образом; значит, решено! И я отправился в путь.

Но вот замелькали одно за другим новые незнакомые места и люди; для меня открылся между горами новый мир, меня окружила чудная природа; она не щеголяла оригинальностью и все же была оригинальна, хоть и оставалась сама собою. «А не в этом ли и есть вся суть?» — подумал я, и все эти деланные оригинальные затеи как ветром вымело у меня из головы! Я решил описать все виденное мною просто, без всяких прикрас. Не выйдет ничего оригинального — значит, я сам только копия, а это — что-то невероятно. Если уж ни один листочек на дереве не

² Набережная Зунда, излюбленное место прогулок копенгагенцев. — Примеч. перев.

похож на другой, как же тогда человек, оставаясь самим собою, может явиться копией с других людей? Итак, читатели, проститесь с увертюрой, прологом и антрактами! Из этого, впрочем, вовсе не следует, чтобы вам не стоило оставаться на своих местах: я раскрою вам свою душу и покажу ряд картин, вызванных в ней чарами путешествия. Нам не нужно хлопотать об экране — лишняя возня; у нас есть книжки с белыми страницами, на них и появятся картины. Конечно, они бледны в сравнении с действительностью, но не надо забывать, что я и называю их лишь «теневыми». Перед вами развернется панорама долин, гор и городов вперемешку с фантастическими арабесками, наскоро набросанными моим пером. Поэт не уступает живописцу!

Пароход «Принцесса Вильгельмина» отходит в Любек. Что это? Берег плывет! Разве он хочет забежать вперед, чтобы не дать нам обогнать себя? Нет, это плывем мы сами! Из трубы валит черный дым, колеса работают и пенят воду; за нами остается длинный пенящийся след.

Путешествовать! Завиднейшее счастье! А ведь, в сущности, все мы знаем его. Вся вселенная путешествует! Даже беднейший из смертных обладает крылатым Пегасом мысли; когда же этот Пегас дряхлеет, человек совершает самое великое путешествие в объятиях смерти. Все путешествует!

В море беспрерывно катятся волны, по небу несутся облака, над полями и лугами летают птицы. Все мы путешествуем; даже мертвые в своих тихих могилах путешествуют вместе с землею вокруг солнца. Да, путешествие, это — *idée fixe* вселенной, но мы, люди, как дети, еще играем в путешествие.

Море лежало передо мною, как зеркало; не было даже ряби. Какое наслаждение плыть так между небом и морем! Сердце поет свои песни, проникнутые желанием и тоской, душа созерцает полные значения, изменяющиеся звуковые фигуры, которые порождают мелодии этих песен.

Сердце и море сродни между собою! Море — сердце земли, вот почему оно так и волнуется в бурные ночи, вот почему и наполняет нашу душу тоской или восторгом, когда отражает в своей спокойной глади ясное звездное небо, это великое изображение вечности! Небо и земля отражаются в море, как и в нашем сердце, но человеческое сердце, потрясенное бурями жизни, никогда уже не бывает так спокойно, как великое сердце земли. А ведь наша земная жизнь только миг в сравнении с жизнью всего мира; проходит миг, и люди забывают свои горести, даже самые глубочайшие, проходит миг, и море тоже забывает свои бури; для мира же целые недели и дни человеческой жизни лишь мгновения. Но я, кажется, уж не на шутку разболтался! Так же вот разболтался я однажды и с

одним маленьким ребенком. Он сидел у меня на коленях, и я рассказывал ему сказку за сказкой, одну лучше другой — по моему собственному мнению. Ребенок не сводил с меня своих больших глаз, и я, полагая, что мои рассказы Бог весть как занимают этого внимательного маленького слушателя, сам увлекся своей ролью рассказчика. На самом интересном месте я, однако, прервал рассказ и спросил ребенка: «Ну, что скажешь?» И ребенок ответил: «Ты так много болтаешь!» Как бы и ты, любезный читатель, не сказал того же! Но подумайте, мы успели уже за это время переплыть Немецкое море! Солнце опять встало; красивое было зрелище, только почти некому было любоваться им: большинство пассажиров спало; они, верно, были одного мнения с Арвом³: «Утро прекрасно, только бы оно не начиналось так рано!»

Направо виднелся Травемюнде, застроенный домами с красными крышами; из окон высовывались головы мужчин и женщин, издали казавшихся прехорошенькими. Увы! Издали! Даль, вот она, волшебная страна, эта Фата-Моргана, которая вечно убегает от тебя! Вдали все мечты детства, все надежды жизни! Вдали сглаживаются

³ Действующее лицо в одной из комедий Хольберга. — Примеч. перев.

морщины с изрытого ими чела старца, вдали и седая старуха сходит за цветущую красавицу! Может быть, и Травемюнде хорош только издали?

В дилижансе

Из двадцати пассажиров, выехавших из Гамбурга, нас осталось под конец в дилижансе всего шестеро. Один был веселый остроумный гамбургский студент. Он нашел, что мы теперь составляем как бы семейный кружок, а члены такого кружка непременно должны знать друг друга. Он не спрашивал, однако, наших имен, а только откуда мы родом, и сообразно с этим давал каждому из нас имя какой-нибудь знаменитости. Таким образом составилась целый кружок знаменитых людей. Меня, как датчанина, он назвал Торвальдсеном, а соседа моего, молодого англичанина, Шекспиром. Сам студент уж не мог удовлетвориться именем меньшей знаменитости, чем Клаудиус. Относительно же трех пассажиров, наших визави, он был в некотором затруднении. Наконец двум из них — восемнадцатилетней девушке и ее дяде, старому аптекарю из Брауншвейга, — он подобрал имена Муммы и Гейнриха Леве, но последняя пассажирка, ехавшая только до Люнебурга, так и осталась без имени, — мы не нашли ни одной знаменитости из ее родного

города Люнебурга, знаменитого солью.

Мы прокатили через него, не увидав ни одной из его достопримечательностей, даже окорока той знаменитой свиньи, которая восемьсот лет тому назад открыла соляные источники. Хруст песка под колесами дилижанса, шелест ветвей, свист ветра и звуки почтового рожка сливались вместе в усыпляющую колыбельную песню. Пассажиры один за другим начали клевать носами, цветы в букетах, заткнутых за переплеты окон дилижанса, проделывали как будто то же самое движение всякий раз, как дилижанс встряхивало. Я закрыл глаза, потом опять открыл их, продолжая дремать или по крайней мере грезить. Взор мой приковала одна большая гвоздика в моем букете. Все цветы сильно благоухали, но эта гвоздика, казалось, превосходила все остальные цветы и запахом, и яркостью красок. Всего же забавнее было то, что в чашечке ее сидело крохотное воздушное прозрачное существо величиною не больше одного лепестка самого цветка. Это был гений цветка. В каждом цветке обитает ведь такой гений, который живет и умирает вместе с цветком. Крылышки его были того же цвета, как и лепестки гвоздики, но так нежны и тонки, что казались лишь отражением красок цветка в лучах месяца. Золотистые кудри гения, воздушнее цветочной пыли, вились по его плечам и слегка волновались от ветра.

Вглядевшись в другие цветы, я заметил, что и в каждом из них сидело по такому же созданию. Их крылышки и одеяния тоже казались отражением красок тех цветов, в которых они обитали. Они покачивались на нежных благоухающих лепестках, пели и смеялись, но так тихо, что мне чудились в воздухе лишь нежные тихие звуки Эоловой арфы.

Скоро в открытое окно кареты влетели еще сотни эльфов всех видов. Они вылетели из темных сосен и степных цветов. То-то поднялась возня, смех, пение и пляска! Они пролетали под самым моим носом и не задумались даже устроить пляс прямо у меня на лбу! Эльфы, вылетевшие из сосен, напоминали дикарей с копьями и пиками, но были так же легки и воздушны, как тот легкий туман, который при первых лучах утреннего солнышка подымается из окропленной росой чашечки розы. Малютки делились на отдельные партии и давали целые представления, которые и снились во сне пассажирам, — каждому свое.

Молодому веселому гамбургскому студенту снился Берлин; целая толпа эльфов изображала немецких студентов, некоторые же — заправских филистеров с длинными трубками в зубах и дубинками в руках. Студенты стояли сплошными рядами, как будто собрались на лекцию; один из сосновых эльфов вскарабкался, как настоящий Гегель, на кафедру и начал говорить такую ученую

и витиеватую речь, что я не понял из нее ни полслова. Другая партия эльфов плясала на губах англичанина и целовала их, а ему снилось, что он целует свою невесту, глядит в ее ласковые, умные глаза. Перед молодой девушкой эльфы разыграли серьезную сцену из ее собственной жизни; слезы текли по ее щекам, а малютки эльфы, улыбаясь, гляделись в них, как в зеркало, и вот в каждой слезинке, скатившейся по щекам спящей девушки, светилась невинная улыбка!

Старому аптекарю досталось от них хуже всех: он наступил на один из цветков и раздавил его вместе с его маленьким гением. Эльфы уселись старику на ноги, и ему приснилось, что он совсем лишился их и скачет по улицам Брауншвейга на деревяшках, а все соседи и прохожие останавливаются и смотрят на него. Но скоро малюткам стало жаль старика, и они вернули ему ноги, мало того — снабдили его еще крыльями, так что он мог даже летать! Это было презабавно, и старик даже расхохотался во сне.

Перед купцом из Дрездена, севшим к нам в Люнебурге, они изобразили гамбургскую биржу со всеми ее евреями и маклерами и подняли курс так высоко, как он еще никогда не подымался. Так могут поднять его только такие воздушные пузыри, да и то лишь во сне.

На меня они долго не обращали никакого

внимания. «Этот длинный, бледный человек — поэт!» — сказал, наконец, один из них. «А ему мы разве ничего не покажем?» — сказали другие. — «Да ведь он и так видит нас! Будет с него!» — «А не показать ли ему то, что мы видим сами? Проснувшись, он бы спел об этом другим людям!»

Долго совещались они, обсуждая вопрос: достоин ли я такой чести, но так как под руками не было другого лучшего поэта, то я и удостоился посвящения. Эльфы поцеловали мои глаза и уши, и я как будто стал совсем новым и лучшим человеком.

Я взглянул на обширную люнебургскую степь, слывущую такую некрасивую. Бог мой, чего только не наговорят люди! Впрочем, то, что они говорят, зависит ведь от их умения видеть и слышать. А что же видел я? Каждая песчинка была блестящим обломком скалы, длинные стебли травы, осыпанные пылью с дороги, — чудеснейшим шоссе для малюток эльфов. Из-за каждого листочка выглядывало крохотное улыбающееся личико. Сосны смотрели настоящими вавилонскими башнями и от нижних ветвей до самых вершин кишмя кишели эльфами. Самый воздух тоже был переполнен этими причудливыми созданныцами, светлыми и быстрыми, как лучи света. Пять-шесть цветочных гениев неслись на спинке белой бабочки, которую спугнули со сна. Другие строили

замки из аромата цветов и лунного сияния. Вся степь была волшебным царством, полным чудес! Как дивно был соткан каждый лепесток! Какою жизнью дышал каждый сосновый отросток! Каждая пылинка отличалась своим цветом и построением! А бесконечное, необъятное, безбрежное небо над степью?!

Существует поверье, что морская дева может обрести бессмертную душу тогда только, если ее полюбит на жизнь и на смерть человек и, окрестив ее, вступит с ней в брак. Малюткам эльфам не так много нужно. Слеза раскаяния или искреннего сострадания, выкатившаяся из глаз человека, уже является для них крещением, дарующим им бессмертие. Вот почему они всегда и выются около людей. Когда же из нашей груди вырывается кроткий благочестивый вздох, они возносятся вместе с ним прямо на небо и там под лучами вечного источника света вырастают в ангелов.

Пала роса, и я увидел, как эльфы резвились на ее каплях. Некоторые поэты уверяют, будто эльфы купаются в каплях росы, но где же этим легким существам, порхающим по пушинкам одуванчика, даже не шевеля их, где им заставить расступиться под собою плотные водяные капли? Нет, они твердо стоят на этих круглых каплях и катятся вместе с ними в своих легких воздушных одеяниях — прелестные, миниатюрные изображения катящейся

на шаре Фортуны!

Вдруг налетел порыв ветра, и я проснулся. Все исчезло, но цветы благоухали по-прежнему, а в окна дилижанса глядели свежие зеленые ветви березок. По случаю Троицы почтальон убрал ими весь дилижанс. Старик аптекарь потянулся со сна и промолвил: «А и здесь можно видеть сны!» Но ни ему, ни другим пассажирам и в ум не приходило, что я был посвящен в содержание их снов.

Встало солнце; мы все сидели молча; должно быть, каждый из нас возносился мыслью к Богу, прислушиваясь к щебетанию птиц, певших гимн Троице, и к проповеди собственного сердца.

Солнце так пекло, что мы еле живыми добрались до Гифгорна, а оттуда до Брауншвейга оставалось еще целых четыре мили. Я был до того измучен, что с трудом мог вылезть из дилижанса, когда глазам нашим предстали вдали горы Гарца и вершина Броккена. Наконец-то мы достигли цели нашего путешествия.

В брауншвейге

— Что дают сегодня вечером в театре? — спросил я.

— Чудеснейшую вещь! — ответил половой. — «Три дня из жизни игрока»! — Я уже слышал об этой сенсационной пьесе, прошумевшей

на всю Германию, и, как ни испечен был за день лучами солнца, как ни измучен с дороги, все-таки отправился в театр.

Пьеса делилась не на акты, а на дни; между каждым предполагался промежуток в пятнадцать лет. Два дня я выдержал, но больше не мог. Зрители были обречены на сущее мучение: скамейки являлись настоящими скамьями истязаний, а я и без того был весь разбит с дороги. Первый день кончился тем, что игрок убил своего отца, другой тем, что он всадил пулю в живот совершенно невинному человеку. Кровь во мне так и вскипела: а что как на третий день он покончит и со всеми зрителями? Вот ужас! Только в «Каторжниках» я и испытал нечто подобное.

На обратном пути домой мне повсюду мерещились подонки человечества, несчастные матери и проигравшиеся игроки. Я был взволнован и, чтобы успокоиться как-нибудь, начал напевать колыбельную песню, а потом рассказывать себе самому детскую сказочку. Послушай ее и ты, читатель!

Пока копенгагенские граждане остаются еще маленькими карапузиками, не бывавшими нигде дальше Фредериксбергского сада да букового леса, бабушки и няньки постоянно угощают их рассказами о заколдованных принцессах и принцах, о золотых горах и говорящих птицах. Немудрено,

что детишки часто задумываются о волшебной стране, где водятся такие чудеса. Только где же она? Да уж, верно, там, далеко-далеко, за морем, где оно сливается с небом! Но стоит карапузикам подрасти, поступить в школу и познакомиться с географией — прощай, страна чудес!.. Бог с ней, однако, с этой географией! Мы остановимся пока на стране чудес. В стране этой много-много лет тому назад, когда еще никому и не снились ни моя авторская деятельность, ни «Три дня из жизни игрока», жил-был старый седой король. Он слепо верил в свет и людей и не мог даже представить себе, чтобы кто-нибудь когда-нибудь лгал. Ложь казалась ему чем-то несуществующим, фантастическим. Вот он раз возьми да и объяви в совете, что отдаст дочь и за нею полцарства в приданое тому, кто скажет ему нечто, прямо невероятное. Все подданные преусердно принялись учиться лгать и лгали один лучше другого, но добряк король всякую ложь принимал за правду. Под конец король даже затосковал, плакал, утирал глаза своей королевской мантией и вздыхал: «Ах, да неужто ж мне никогда никому не доведется сказать: врешь!» Дни шли за днями, и в одно прекрасное утро приходит красивый молодой принц. Он был влюблен в принцессу, и она отвечала ему взаимностью. Целых девять лет изощрялся он во лжи и теперь надеялся добиться

невесты и полцарства. Он попросился у короля в огородники. «Хорошо, сын мой!» — сказал король и повел его в огород. В огороде росло видимо-невидимо капусты: кочаны были сочные, огромные, но принц скорчил гримасу и спросил: «Это что?» — «Капуста, сын мой!» ответил король. «Капуста? В матушкином огороде растет капуста такая, что под каждым листом уместится целый полк солдат». — «Возможно! — сказал король. — Природа так могуча и каких-каких только не производит плодов!» — «Ну, так я не хочу быть огородником! — сказал принц. — Возьмите меня лучше в овинные старосты». — «Хорошо; а вот и овин мой. Видал такие большие?» — «Такие? Поглядел бы ты, какой овин у моей матери! Представь себе, когда его строили и плотник работал топором на крыше, топор как-то сорвался с топорища и полетел на землю, но, пока долетел, ласточка успела свить в отверстии обуха гнездо, положить яйца и вывести птенцов! Да ты, пожалуй, скажешь, что я вру?» — «Зачем? Нет! Искусству человеческому нет пределов! Почему ж бы и твоей матери не построить себе такого овина?»

Так и пошло; принц не добился ни царства, ни прелестной принцессы; и она, и он зачахли с горя; король ведь поклялся: «Руку моей дочери получит лишь тот, кто солжет мне!» Но, увы! Его доброе сердце не хотело верить в ложь. Наконец, он умер,